

АЛЕКСЕЙ
ПАРЦИКОВ

ФИГУРЫ
ИНТУИЦИИ



АЛЕКСЕЙ
ПАРЩИКОВ * **ФИГУРЫ**
ИНТУИЦИИ



Московский рабочий

1989

ББК 84Р7—5
П18

Парщиков А. М.

П18 **Фигуры интуиции: Стихотворения.** — М.: Моск. рабочий, 1989. — 96 с.

Эта книга не могла увидеть свет в период застоя общественной мысли. Потому что в то время было принято мыслить стандартными категориями. Алексей Парщиков — поэт-метафорист, у него — особое видение мира. Книга будет интересна истинным знатокам поэзии. Стихи А. Парщикова публиковались на финском, датском, английском и французском языках. Советским читателям они знакомы по отдельным публикациям в периодической печати.

4702010202—019
П М172(03)—89 Без объявл.

ББК 84Р7—5

ISBN 5—239—00711—х

© Издательство «Московский рабочий», 1989

И в традиции и в новаторстве нет прямолинейности. Поэзия развивается и через «отрицание», и через «отрицание отрицания»... Алексей Парщиков, современный молодой поэт, по-современному отрицает каноны. В подглавке «Карл» из поэмы «Я жил на поле Полтавской битвы» сражение увидено глазами шведского короля и одновременно глазами автора поэмы, он присутствует там, где хочет, ибо в историческом представлении каждый из нас вездесущ (только в конкретной реальности «я» со своей точкой зрения не может быть сразу в двух точках пространства!). Однако поэт ведет себя не как актер, который, готовясь выйти на сцену, где, скажем, начинается мир «Полтавы», переодевается и профессионально перевоплощается в одного из протагонистов или статистов. Нет, Алексей Парщиков непосредственно «взаимодействует» с прошлым, решительно снимая чувство дистанции, отменяя школьные координаты застывшей перспективы. Это не нарочитый литературный прием, а видение, вызванное художественным темпераментом, отвращением к нелепой войне, занесенной Карлом вглубь российской земли, — современной ненавистью к агрессору:

«Королю наливают стакан, — я его осушаю, и меня не ведут
на расстрел;
вот я бью короля по щеке, и король подставляет другую —
не видит меня;
ждет его допельклепер лифляндский под турецким седлом —
я расседываю коня;
я ладонью полполя королю закрываю...»

Метафора становится новой реальностью — вот она, перед вами, зримая, действующая. Карл полагает, что он «делает» историю, но мы-то, глядя на него «отсюда», видим, что его затея — жалкая, чуть ли не бутафорски-игрушечная, мы «сверху» припиливаем его к историческому стенду словами Парищикова — «историю сделает тот, кто родится последним» (право потомка усмехнуться!). Затея обречена, она жалкая издали, а лицом к лицу — всегда страшная, кровавая, прощенья игроку-королю не будет вовеки!

«Кто же поле приподнял с враждебного края, и катится войско
на Карла, и нету заслона,
стала бессмысленной битва...»

Образ-находка, точный и четкий, как в мультфильме, но дело не только в художественной наглядности — в этом зримом действии выражена страстная позиция поэта: земля российская словно сама наклоняется, опрокидывая незваных гостей. Это показ, как говорят о фильме, причем показ «с комбинированными съемками»... Новая форма выразительности требует новой техники. Парищиков — как тот музыкант, который создает для себя новый инструмент и заново учится на нем играть.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

*LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS*¹

* * *

Еще до взрыва вес, как водоем,
был заражен беспамятством, и тело
рубашками менялось с муравьем,
сбиваясь с муравьиного предела.

Еще до взрыва — свечи сожжены,
и в полплеча развернуто пространство;
там не было спины, как у Луны,
лишь на губах собачье постоянство.

Еще: до взрыва не было примет
иных, чем суховей, иных, чем тихо.
Он так прощен, что пропускает свет
и в кулаке горячая гречиха.

Зернился зной над рельсом и сверкал,
клубились сосны в быстром опереньи.
Я загляделся в тридевять зеркал.
Несовпадение лиц и совпадение.

Была за поцелуем простота.
За раздвоеньем — мельтешенье ножниц.
Дай бог, чтобы осталась пустота.
Я вижу в том последнюю возможность.

Хоть ты, апостол Петр, отвори
свою заледенелую калитку.
Куда запропастились звонари?
Кто даром небо дергает за нитку?

¹ Люси в алмазном небе (англ.).

* * *

О сад моих друзей, где я торчу с трещоткой
и для отвода глаз свищу по сторонам,
посеребрим кишки крутой крещенской водкой,
да здравствует нутро, мерцающее нам!

Ведь наши имена не множимы, но кратны
распахнутой земле, чей треугольный ум,
чья лисья хитреца потребует обратно
безмолвие и шум, безмолвие и шум.

* * *

Темна причина, но прозрачна
бутыль пустая и петля,
и, как на скатерти змея,
весть замкнута и однозначна.

А на столе, где зло сошлось,
среди зависти клетушной,
как будто тазовая кость,
качалось море вкривь и вкось
светло и простодушно.

Цвел папоротник, и в ночи
купальской, душной, влажной
под дверью шарили рвачи,
а ты вертел в руках ключи
от скважины бумажной.

От черных греческих чернил
до пестрых перьев Рима,
от черных пушкинских чернил
до наших, анонимных,

метало море на рога
под трубный голос мидий
словов повторных жемчуга
в преображенном виде,

то ли гармошечкой губной
над берегом летало,
то ли как ужас — сам не свой
в глуши реакции цепной
себя распространяло.

Без моисеевых страстей
стремглав твердеют воды,
они застыли мощью всей,
как в сизом гипсе скоростей
беспамятство свободы.

Твой лик условный, как бамбук,
как перестук, задаром
был выброшен на старый круг
испуга, сна, и пахло вдруг
сожженною гитарой.

И ты лежал на берегу
воды и леса мимо.
И это море — ни гу-гу.
И небо обратимо.

1971 ГОД

Ты — прилежный дятел, пружинка, скула,
или тот, что справа — буравчик, шкода,
или эта — в центре — глотнуть не дура,
осеняются: кончен концерт и школа:

чемпион, подтягивающийся, как ледник,
студень штанги, красный воротник

шеренги.

Удлинялась ртуть, и катался дым,
и рефлектор во сне завился рожком,
сейфы вспухли и вывернулись песком,
на котором, ругаясь, мы загорим,
в луна-парках черных и тирах сладких
умываясь в молочных своих догадках.

В глухоте, кормящей кристаллы, как
на реках вавилонских наследный сброд,
мы считали затмения скрещенных яхт,
под патрульной фарой сцепляя рот,
и внушали телам города и дебри —
нас хватали обломки, держались, крепи.

Ты — в рулонах, в мостах, а пята — снегирь,
но не тот, что кладбища розовит,
кости таза, ребер, висков, ноги
в тьме замесят цирки и алфавит,
чтоб слизняк прозрел и ослеп, устыдясь,
пейте, партнеры, за эту обратную связь!

Как зеркальная бабочка между шпаг,
воспроизводится наша речь,
но самим нам противен спортивный шаг,
фехтовальные маски, токарность плеч;
под колпаком блаженства дрожит модель,
валясь на разобранную постель.

МЕМОУАРНЫЙ РЕКВИЕМ

1.

От поясов идущие, как лепестки, подмышки бюстов,
бокалы с головами деятелей, — здесь
с принципиальной тьмой ты перемешан густо,
каштаном в головах оправдан будешь весь.
Но в бессезонной пустоте среди облакоходцев
терпеньем стянут ты, исконной силой лишь,
так напряжен Донбасс всей глубиной колодца,
9,8 g и в Штаты пролетишь.
Ты первый смертью осмеял стремления и планы.
Ты помнишь наш язык? Ступай, сжимая флаг!
Как в водке вертикаль, все менее сохранны
черты твои. Ты изнасиловал замкнутый круг!

2.

Как будто лепестки игрушечной Дюймовочки,
подмышки бюстов — лопасти. Я вспоминаю миг:
как сильный санитар, ты шел на лоб воздев очки,
толкая ту же тьму, что за собой воздвиг.
В азовские пески закапывая ногу,
ты говорил: нащупана магнитная дуга.
И ты на ней стоял, стоял на зависть йогу,
и кругосветная была одна твоя нога.
Ты знал про все и вся, хотя возрос в тепличности,
ты ведал, от кого идет какая нить.
Идол переимчивости вяз в твоём типе личности,
его синхронность ты не мог опередить.

3.

У мира на краю я был в покато́й Арктике,
где клык, желудок, ус в ряду небесных тел
распространяются, но кто кого на практике
заметил и сманил, догнал, принудил, съел?
Неведомо. Здесь нет на циферблате стрелок
кроме секундной, чтоб мерцаньем отмерять
жизнеспособность там, где Лены пять коленок
откроет мне пилот, сворачивая вспять.
Там видел я твою расправленную душу,
похожую на остров, остров — ни души!
Ты впился в Океан. Тобою перекушен
ход времени, так сжал ты челюсти в тиши.

4.

Ты умер. Ты замерз. Забравшись с другом в бунгало,
хмельной, ты целовал его в уста.
А он в ответ — удар! И бунгало заухало,
запрыгало в снегу. Удары. Частота
дыхания и злость. Ты шел со всех сторон,
ты побелел, но шел, как хлопок на Хиву.
Но он не понимал. Сломалась печь. Твой сон
унес тебя в мороз и перевел в траву.
У друга твоего глаз цвета «веронезе»,
в разрезе он слегка монгололит.
Его унес спидвей в стремительном железе.
Лежал ты исковерканный, как выброшенный щит.

5.

Прозрачен, кто летит, а кто крылат — оптичен.
Язычник-октябренок с муравьем

стоишь, догадкой увеличен,
похоже, дальний взрыв вы видите вдвоем.
Мир шел через тебя (ты был, конечно, чанец),
так цапля, складывая шею буквой Z,
нам шлет, при взлете облегчаясь,
зигзаг дерьма — буквальный свой привет.
Ну, улыбнись, теперь и ты — в отрыве.
Ты сцеплен с пустотой наверняка.
Перед тобою — тьма в инфинитиве,
где стерегут нас мускулы песка.

6.

В инфинитиве — стол учебный и набор
приборов, молотки на стендах, пассатижи,
учителя подзорные в упор,
в инфинитиве — мы, инфинитива тише.
И зоокабинет — Адама день вчерашний,
где на шкафу зверек, пушистый, как юла,
орел-инфинитив с пером ровней, чем пашня,
сплоченная в глазу парящего орла.
Наш сон клевал Нерона нос неровный,
нам льстила смерть в кино, когда
принц крови — Комвель падал с кровли,
усваиваясь нами без следа.

7.

В год выпуска кучкуясь и бродя вразвалку,
пятнали мы собой заезжий луна-парк,
где в лабиринте страха на развилке
с тележки спрыгнул ты и убежал во мрак.
Ты цапал хохотушек, ты душу заложил,
рядясь утопленницей от Куинджи.

Снаряд спешил под мост. Пригнитесь, пассажир!
Но этот мост установил ты ниже,
чем требовал рефлекс. Ты выведен и связан.
Ты посетил Луну и даже ею был.
В кафе «Троянда» ты стал центровым рассказом,
а в КПЗ царапался и выл.

8.

Молочный террикон в грозу — изнанка угля,
откуда ты не вычитаем, даже если
слоистые, как сланцы, твои дубли
все удаленнее (их тысячи, по Гессе)
от матрицы, запомнившей твой облик.
Вот зный твой двойник дает черты Хрущева.
(Поскольку оба вы напоминали бублик.)
Черта по ходу закрепляется и снова
выпячивается. Я вижу, вы напротив
сидите, мажете друг друга красками
(а ваши лики цвета спин у шпротин,
черно-золотые) и шуршите связками.

9.

Наш социум был из воды и масла,
где растекался индивид,
не смешиваясь, словно числа
и алфавит. Был деловит
наш тип существованья в ширину,
чтоб захватить побольше, но не смешиваться
с основой, тянущей ко дну,
которое к тебе подвешивается.
Тот, кто свободу получал насильно,

был вроде головы хватательной среди пустот,
то в кителе глухом свистел в калибр маслины,
а ты дразнил их, свергнутых с постов!

10.

Ты стал бы Северянином патанатомки,
таким, мне кажется, себя ты видел,
твой мешковатый шаг, твой абрис емкий,
в себе на людях высмеянный лидер...
Оставивший азовский акваторий,
твой ум, развернутый на ампулах хрустящих,
обшарив степь, вмерзая в тьму теорий,
такую арку в небе растарачил,
откуда виден я. Прощальная минута.
Я уезжаю, я в вокзал вошел,
где пышный занавес, спадая дольками грейпфрута
разнеживает бесконечный холл.

11.

И властью моря я созвал
имеющих с тобой прямую связь,
и вслед тебе направил их в провал:
ходи, как по доске мечтает ферзь!
Координат осталось только две:
есть ты и я, а посреди, моргая,
пространство скачет рыбой на траве.
Неуловима лишь бесцельность рая.
Пуст куст вселенной. Космос беден.
И ты в кругу болванок и основ
машиной обязательной заведен.
Нищ космос, нищ и ходит без штанов.

12.

Как нас меняют мертвые? Какими знаками?
Над заводской трубой бледнеет вдруг Венера...
Ты, озаренный терракотовыми шлаками,
кого узнал в тенях на дне карьера?
Какой пружинной сгущено коварство
угла или открытого простора?
Наметим точку. Так. В ней белена аванса,
упор и вихрь грядущего престола.
Упор и вихрь.

А ты — основа, щелочь, соль...
Содержит ли тебя неотвратимый сад?
То съжжется рельеф, то распрямится вдоль,
и я ему в ответ то вытянут, то сжат.

ЖУЖЕЛКА

Находим ее на любых путях
пересмешницей перелива,
букетом груш, замерзших в когтях
температурного срыва.

И сняли свет с нее, как персты,
и убедились: парит
жужелка между шести
направлений, молитв,

сказанных в ледовитый сезон
сгоряча, а теперь
она вымогает из нас закон
подобья своих петель.

¹ Жужелка — фрагмент шлака.

И контур блуждает ее свиреп,
йодистая кайма,
отверстий хватило бы на свирель,
но для звука — тюрьма!

Точнее, гуляка, свисти, обходя
сей безъязыкий зев,
он бульбы и пики вперил в тебя,
теряющего рельеф!

Так искривляет бутылку вино
невъпитое, когда
застолье взмывает, сцепясь винтом,
и путает провода.

Казалось, твари всяя земли
глотнули один крючок,
уснули — башенками заросли,
очнулись в мелу трущоб,

складских времянок, посадок, мглы
печей в желтковом дыму,
попарно — за спинами скифских глыб,
в небе — по одному!

СТЕКЛЯННЫЕ БАШНИ

О. С.

с утра они шли по улице в беспорядке
стеклянные башни похожие на связанные баранки
подвешенные к пустоте

просматриваясь отовсюду
сквозные пчелы избегающие себя словно

это и есть контакты контакты
звон и если что оборона

со всех сторон через
подушечку мизинца
коленка обозреваема и цейлон
обманутые прятки
стеклянные башни

из колбочек и шариков чутких
выше среднего роста чуть-чуть
с пустыми термометрами на верхушке

бережно башню настраиваешь на себя
выгибаясь как богомол на придирчивом стебельке
входишь в нее сверяя

слегка розоватая
будто в степи на закате сохнет
стада ее нюхают замечая
клев и благо и не жаль ничего
а на деле едет она в метро погромыхивая
всегда с тобой и слегка розоватая

стеклянные башни бестеневые будто бы на дворе
мрачное утро как и века спустя
шли стеклянные башни к хлопковой белой горе
там ягненок стоял копытца скрестя

что для сходства берут они у того кого повстречают
они становятся им самим
их зрение разлитое различий не различает
в стеклянной башне я заменим

главное не умереть в стеклянной башне
иначе не узришь овна парящего над горою
они ошибаются мною и это страшно
чем стеклянные башни ошибаются мною

они поднимались в гору перфорация мира
и в том же темпе валились вниз
жаль ты сластена и притвора
спала в одной из башен и никто не спас

побег из башни возможен по магнитной волне
вдохновляя воздух вокруг свистом уст
надо бежать еще долго с ней наравне
чтоб убедиться корпус ее без тебя пуст

они разбиваются и мутнеют вскоре
под подошвами кашляют их сухие осколки
стеклянные башни противоположны морю
и мне как святыне его возгонки

потому что они прозрачны в темноте их нет
возьми от черной комнаты ключ
кнут чтоб их дрессировать как молитвами Хома
Брут
и комната пусть хохочет прыгая словно грач

ничего не увидишь ты но поймаешь звон
дубли от них отделяются стеклянное предыдущих
невидимыми осколками покрывается склон
белоснежный склон и райские кущи

ДВЕ ГРИМЕРШИ

мертвый лежал я под сыктывкарром
тяжелые вороны меня протыкали

лежал я на рельсах станции орша
из двух перспектив приближались гримерши

с расческами заткнутыми за пояс
две гримерши нашли на луне мой корпус

одна загримировала меня в скалу
другая меня подала к столу

клетка грудная разрезанная на куски
напоминала всякие замки

а когда над пиром труба протрубила
первая взяла проторубило

светило галечной культуры
мою скульптуру тесала любя натуру

ощутив раздвоение я ослаб
от меня отделился нагретый столб

черного света и пошел наклонно
словно отшельница-колонна

ШАХМАТИСТЫ

Два шахматных короля
делят поля для
выигрыша,
надежду для.

Все болеют за короля нефтяного,
а я — за ледяного.

О, галек пущенных по воде всплывающие свирели!
Так и следим за игрой их — года пролетели.

Что ожидать от короля нефтяного?
Кульбитов,
упорства и снова

подвига, ну,
как от Леонардо,
победы в конце концов.
Кому это надо?

Ледяной не спешит и не играет соло, —
с ним вся Пифагорова школа,

женщина в самоцветах, словно Урал,
им посажена в зал,

он ловит пущенный ею флюид
и делает ход, принимая вид

тщательности абсолюта. Блеск
ногтей. Рокировка. Мозг.

У противника аура стянута к животу,
он подобен складному зонту,

а мой избранник — радиоволна,
глубина мира — его длина.

Противнику перекручивают молекулярные нити.
Ледяной король, кто в твоей свите?

За ним — 32 фигуры,
ЭВМ, судьи и все аббревиатуры,

армии, стада, ничейная земля,
я один болею за этого короля.

У него есть все — в этом он бесподобен.
На что ж он еще способен?

Шах! — белая шахта, в которую ты летишь.
На черную клетку шлепается летучая мышь.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КОФЕЙНЕ

Он глотает пружину в кофейной чашке,
серебро открывший тихоня,
он наследует глазом две букли-пешки
от замарашки в заварном балахоне,
джаз-банд, как, отпрянув от головешки,
пятится в нишу на задних лапах,
танцующих — в ртутных рубахах.
Верхотура сжимается без поддержки.

Тогда Бухарест отличил по крови
от наклона наклон и все по порядку
человек ощутил свои пятки ровень
с купольным крестиком, а лопатки,
как в пылком кресле, и в этой позе,
в пустотах ехидных или елейных,
вращеньем стола на ответной фазе
он возвращен шаровой кофейне.

Самоубийца, заслушавшийся кукушку,
имел бы время вчитаться в святцы,
отхлебывать в такт, наконец — проспаться,
так нет же! — выдергивает подушку
нательная бездна, сменив рельефы,
а тому, кто идет по дороге, грезя,
под ноги садит внезапно древо —
пусть ищет возврата в густой завесе!

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В БУХТЕ Цэ

Евгению Дыбскому

Утром обрушилась палатка на
меня, и я ощутил: ландшафт
передернулся, как хохлаткина
голова.

Под ногой пресмыкался песок,
таз с водой перелетел меня наискосок,
переступил меня мой сапог,
другой — примеряла степь,
тошнило меня, так что я ослеп,
где витала та мысленная опора,
вокруг которой меня мотало?

Из-за горизонта блеснул неизвестный город
и его не стало.

Я увидел — двое лежат в ложине
на рыхлой тине в тени,
лопатки сильные у мужчины,
у нее — коралловые ступни,
с кузнечиком схожи они сообща,
который сидит в золотистой яме,
он в ней времена заблуждал, трепеща,
энергия расходилась кругами.
Кузнечик с женскими ногами.

Отвернувшись, я ждал. Цепенели пески.
Ржавели расцепленные товарняки.
Облака крутились, как желваки,
шла чистая сила в прибрежной зоне,
и снова рвала себя на куски
мантя Европы, — м. б., Полоний
за ней укрывался? — шарах! — укол!

Где я? А на месте лощины — холм.

Земля — конусообразна
и оставлена на острие,
острие скользит по змее,
надежда напрасна.
Товарняки, словно скорость набирая,
на месте приплясывали в тупике,

а две молекулярных двойных спирали
в людей играли невдалеке.

Пошел я в сторону от
самозабвенной четы,
но через несколько сот
метров поймал я трепет,
достигший моей пяты,
и вспомнилось слово gabbit,
И от чарующего трепетания
лучилась, будто кино,
утраченная среда обитания,
звенело утраченное звено
между нами и низшими:
трепетал Грозный,
примирия Ламарка с ящерами,
трепетал воздух,
примирия нас с вакуумом,
Аввакума с Никоном,
валуны, словно клапаны,
трепетали. Как монокино
проламывается в стерео,
в трепете аппарата
новая координата
нашаривала утерянное.
Открылись дороги зрения
запутанные, как грибницы,
я достиг изменения,
насколько мог измениться.
Я мог бы слямзить Америку —
бык с головой овальной,
а мог бы стать искрой беленькой
меж молотом и наковальней.
Открылись такие ножницы
меж временем и пространством,
что я превзошел возможности

всякого самозванства, —
смыкая собой предметы,
я стал средой обитания
зрения всей планеты.
Трепетание, трепетание...

На бледных холмах азовья
лучились мои кумиры,
с «Мукой Музы» во взоре
трепетали в зазоре
мира и антимира.

Подруги и педагоги,
они псалмы бормотали,
тренеры буги-вуги,
гортани их трепетали:
«Распадутся печати,
вспыхнут наши кровати,
птица окликнет трижды,
останемся неподвижны,
как под новокаином
на хрупкой игле,
Господи, помоги нам
устоять на земле».

Моречко — паутинка,
ходящая на иголках,
немножечко поутихло,
капельку поумолкло.

И хорда зрения мне протянула
вновь ту трепещущую чету,
уже совпадающую с тенью стула,
качающегося на свету
лампы, забарматывающейся от ветра...

А когда рассеялись чары,
толчки улеглись и циклон утих,

я снова увидел их —
бредущую немолодую пару,
то ли боги неканонические,
то ли таблицы анатомические...

Ветер выгнул весла из их брезентовых брюк
и отплыл на юг.

СТАТУИ

Истуканы в саду на приколе,
как мужчина плюс вермут — пьяны,
и в рассыпанном комьями горле
арматуру щекочут вьюны.

Лишь неонка вспорхнет на фасаде,
обращая к витрине мясной,
две развалины белые сзади
закрепятся зрачками за мной.

ПУСТЫНЯ

Я никогда не жил в пустыне
напоминающей край воронки
с кочующей дыркой. Какие простые
виды, их грузные перевороты

вокруг скорпиона, двойной змеи;
кажется, что и добавить нечего
к петлям начал. Подергивания земли
стряхивают контур со встречного.

ИЗ ГОРОДА

Как вариант унижает свой вид предыдущий,
эти холмы заслоняют чем ближе, тем гуще
столик в тени, где мое заглядение пьет
кофе, не зная, какие толпятся попытки
перемахнуть мурашиную бритву открытки —
через сетчатку и — за элеватор и порт.

Раньше, чем выйти из города, я бы хотел
выбрать в округе не хмелем рогатую точку,
но чтобы разом увидеть дворец и костел,
дом на Андреевском спуске и поодиночке —
всех; чтоб гостиница свежая глазу была,
дух мой на время к себе, как пинцетом, брала.

Шкаф платяной отворяет свои караул-створки,
валятся шмотки, их души в ушке у иголки
давятся — шубы грызутся и душат пиджак,
фауна поз человеческих — другдружикина пища! —
воет буран барахла; я покину жилище,
город тряпичный затягивая, как рюкзак.

Глаз открываю — будильник зарос коноплей,
в мухе точнейшей удвоен холодный шурупчик,
на полировке в холодном огне переплет
книги святой, забываю очнуться, мой копчик
весь в ассирийских династиях, как бигуди;
я над собою маячу: встань и ходи!

Я надеваю пиджак с донжуанским подгоном,
золотовская лень ноготком, не глаголом
сразу отводит мне место в предметном ряду:
крылышком пыли и жгутиком между сосисок,
чем бы еще? — я бы кальцием в веточке высох,
тоже мне, бегство, — слабея пружинной в меду!

Тотчас в районе, чья слава была от садов,
где под горой накопились отстойные тыщи,
переварили преграду две черных грязищи —
жижа грунтовая с мутью закисших прудов,
смесь шевельнулась и выбросила пузыри,
села гора парашютом, вдохнувшим земли.

Грязь подбирает крупницу, столбы, человека,
можно идти, если только подошвами кверху,
был ли здесь город великий? — он был, но иссяк.
Дух созидания разве летает над грязью?

Как завещание гоголевское — с боязни
вспомнить себя под землей — начинается всяк
перед лавиной, но ты, растворительница
брачных колец и бубнилка своих воплощений,
хочешь — в любом из бегущих (по белому щебню
к речке, на лодках и вплавь) ты найдешь

близнеца,

чтобы спастись. Ты бежишь по веранде витой.
Ты же актриса, ты можешь быть городом, стой!

КРЫМ

Ты стоишь на одной ноге, застегивая босоножку,
и я вижу куст масличный, а потом — магнитный,
и орбиты предметов, сцепленные осторожно, —
кто зрачком шевельнет, свергнет ящерку, как
молитвой.

Щелкает море пакетником гребней, и разместится
иначе мушиная группка, а повернись круче —
встретишься с ханом, с ним две голенастые птицы,
он оси вращения перебирает, как куча

стеклянного боя. Пузырятся маки в почвах,
а ротозеям — сквозь камень бежать на Суд.
Но запуск вращения и крови исходная точность
так восхищают, что остолбеневших — спасут!

* * *

В домах для престарелых, широких и проточных,
где вина труднодоступна, зато небытия — как
бодяги,
чифир вынимает горло и на ста цепочках
подвешивает, а сердце заворачивает в бумагу.

Пусть грунт вырезает у меня под подошвами
мрачащая евстахиевы трубы невесомость,
пусть выворачивает меня лицом к прошлому,
а горбом к будущему современная бездомность!

Карамельная бабочка мимо номерной койки
ползет 67 минут от распятия к иконе,
за окном пышный котлован райской пристройки;
им бы впору подумать о взаимной погоне.

Пока летишь на нежных чайных охапках,
видишь, как предметы терпят крах,
уничтожаясь, словно шайки в схватках,
и — среди пропастей и взвесей дыбятся рак.

Тоннели рачьи проворней, чем бензин на Солнце,
и не наблюдаемы. А в голове рака
есть все, что за ее пределами. Порциями
человека он входит в человека

и драться не переучивается, отвечая на наркоз
наркозом. Лепестковой аркой

расставляет хвост. Сколько лепета, угроз!
Как был я лютым подростком, кривлякой!

Старик ходит к старику за чаем в гости,
в комковатой слепоте такое старание,
собраны следы любимой, как фасоль в горстку,
где-то валяется счетчик молчания, дудка визжания!

Рвут кверху твердь простые щипцы и костелы,
и я пытался чудом, даже молвой,
но вызвал банный смех и детские уколы.
Нас размешивает телевизор, как песок со смолой.

ПСЫ

Ей приставили к уху склерозный обрез,
пусть пеняет она на своих вероломных альфонсов,
пусть она просветлится, и выпрыгнет бес
из ее оболочки сухой, как январское солнце.

Ядовитей бурьяна ворочался мех,
брех ночных королей на морозе казался кирпичным,
и собачий чехол опускался на снег
в этом мире двоичном.

В этом мире двоичном чудесен собачий набег!
Шевелись, кореша, побежим разгружать
гастрономы!

И витрина трещит, и кричит человек,
и кидается стая в проломы.

И скорей, чем в воде, бы намок рафинад,
расширяется тьма, и ватаги
между безднами ветер мостят и скрипят,
разгибая крыла для отваги.

Разматывается кровь, и у крови на злом поводе
мчатся бурные тени вдоль складов,
в этом райском саду без суда и к стыду
блещут голые рыбы прикладов.

После залпа она распахнулась, как черный подвал.
Ее мышцы мигали, как вспышки бензиновых
мышек.

И за ребра крючок поддевал,
и тасил ее в кучу таких же блаженных и рыжих.

Будет в масть тебе, сука, завидный исход!
И в звезду ее ярость вживили.
Пусть пугает и ловит она небосвод,
одичавший от боли и пыли.

Пусть, дурачась, грызет эту грубую ось,
на которой друг с другом срастались
и Земля и Луна, как берцовая кость,
и, гремя, по вселенной катались!

ЭЛЕГИЯ

О, как чистокровен под утро гранитный карьер
в тот час, когда я вдоль реки совершаю прогулки,
когда после игрищ ночных вылезают наверх
из трудного омута жаб расписные шкатулки.

И гроздьями брошек прекрасных набиты битком
их вечнозеленые, нервные, склизкие шкуры.
Какие шедевры дрожали под их языком?
Наверное, к ним за советом ходили авгуры.

Их яблок зеркальных пугает трескучий разлом,
и ядерной кажется всплеска цветная корона,
но любят, когда колосится вода за веслом,
и сохнет кустарник в сливовом зловонье затона.

В девичестве — вяжут, в замужестве — ходят с
икрой,
вдруг насмерть сразятся, и снова уляжется шорох,
а то, как у Данта, во льду замерзают зимой,
а то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах.

Я ЖИЛ НА ПОЛЕ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ

(поэма)

ВСТУПЛЕНИЕ

Беги, моя строчка, мой пес, — лови! — и возвращайся к ноге
с веткой в сходящихся челюстях, и снова служи дуге, —

улетает посылка глазу на радость, а мышцам твоим на работу,
море беру и метаю — куда? — и море приспособливается к полету,

уменьшаясь, как тень от очков в жгучий день, когда их на пробу
приближают к лицу, и твердея, как эта же тень, только чтобы

лечь меж бумагой и шрифтом и волниться во рту языком; наконец,
вспышка! — и расширяется прежнее море, но за срезом страниц.

Буквы, вы — армия, ослепшая вдруг и бредущая краем времен,
мы вас видим вплотную — рис ресниц, и сверху — риски колонн, —

брошена техника, люди — как на кукуане, связаны температурой тел,
но очнутся войска, доберись хоть один до двенадцатислойных стен

Идеального Города, и выспись на чистом, и стань — херувим,
новым зреньем обводит нас текст и от лиц наших не отделим.

Все, что я вижу, вилку дает от хрусталика — в сердце и мозг,
и, скрестившись на кончиках пальцев, сыпается в лязг

машинописи; вот машинка — амфитеатр, спиной развернутый к хору,
лист идет, как лавина бы — вспять! вбок — поправка — и в гору.

Выиграй, мой инструмент, кинь на пальцах — очко! — а под углом
иным — те же буквы летят, словно комья земли, и лепится холм,

чуть станина дрожит, и блестят рычажки в капельках масла,
а над ними — не раскрытые видом гребешки душистые смысла,

сам не легок я на подъем, больше сил против лени затратчу,
а в машинку заложены кипы полетов и способ движенья прыгучий!

Правь на юг, с изворотом, чтоб цокнули мы языком над Стокгольмом,
уцепившись за клавишу — ь — мы оставим первопрестольный

снег. Я обольщен жарой. Север спокоен, как на ботинке узел, —
тем глубже он занят собой, чем резче ты дернешь морозный усик.

Не в благоденствии дело, но чтоб дух прокормить, соберем травы
на хуторах плодоносных, петляя в окрестностях теплой Полтавы,

3—1458 вот я, Господи, весь, вот — мой пес, он бежит моей властью
васильками — Велеса внук — и возвращается — св. Власий.

*ГЛАВА ПЕРВАЯ,
В КОТОРОЙ ПОВЕСТВУЕТСЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОРУЖИЯ*

1.1.

Где точка опоры? Не по учебнику помню: галактики контур остист, где точка опоры? Ушедший в воронку, чем кончится гаснущий свист?

Или перед собой ее держит к забору теснящийся пыльный бурунчик, или на донце сознания носит ее трясогузка — прыткий стаканчик?

Но уронится заверть в расцепе с небесной зубчаткой, а птичка вдоль отмели прыг-скок и ушла., надо мной ли висит эта точка?

В сравнении с ней элементы восьмого периода — пух, дирижабли, так тяжела эта точка и неустойчива — лишь время ее окружает,

лишь ошметки вселенной и палочки-души (две-три), прежде чем утратиться вовсе, край иглы озирают, и — нет глубже ям.

88 Словно газета, заглавьем читая концовку, вращаясь и рея,
ближе к точке кривляются все, — кто же смог быть смешон перед нею?

32 От нее отделяются гладкие мелкие камушки — их пустота облизала — это души оружия, и сразу становится тесно в штабах и казармах.

Обнаружились души оружия, намечаясь в эфире как только в лоск притерлись приклады к ладоням, в идее — обычная галька.

Меж людьми побродила винтовка и знает, что такое удар по улыбке, застилая полвоздуха, пуля из-под ног извергает булыжник.

Ах, чем палить по мишеням новобранцами ада, лучше пить в одиночку! Хмельное тело затылком нащупывает самовитую точку.

Она свободней, чем оборванный трос, чертящий на воздухе лепестки, гуляет — где хочет, и в нее никогда не прицеливаются стрелки.

Это точка опоры галактики — не вершина, а низ блаженства, от нее — и пушка, и нож, их морозное совершенство.

1.2. ПЕРВАЯ ПУШКА

Первая пушка была рассчитана на любопытного врага, и число частей ее — по числу врагов.

На левом берегу Ворсклы возвели водяные меха, а между ними — колонну со скобкой для рычагов, по краям которых подцеплены широкие платформы. Люди вереницей шли с платформы на платформу

и обратно,

такие веса поочередно давили на меха, получался массовый насос, выталкивающий два заряда и дающий общее распределение греха.

Меха и колонна покоились на шестиколесном помосте, а вдоль реки пробегала кожаная кишка, надуваясь от насоса, она гнала колеса и вместе всех артиллеристов, удивленных слегка ¹.

Копиисты писали машину на облаке, палящую лагом, в этом был урок мореходного и авиадуха, и косила врага, как вертлюг разболтанная костомеха, колеса за ее спиной напоминали два уха.

Пушка могла быть разобрана на мельчайшие частички и разнесена по свету в нагрудных карманах армий, спрятана за щеками или вплетена в косички и т. п., что еще не перенято нами.

Представим, что враг стоит напротив ствола.

Выстрел! — стрела соединяет грудь и спину, тело руками обхватывает бесконечную машину, тщится, становясь меньшим узлом большего узла.

¹ См. памятник Шевченко в Полтаве, автор Кавалеридзе. Он похож на гору летящих друг с дружкой тележек, чей суммарный вектор упирается в нуль, и скатиться, поборов мертвую точку, тележка не может. Смыслы пересекаются и в том, что пушка вводит, а памятник — выводит целые нации из мертвой точки, — я ее называю мушкой, или — во втором случае — чистой гравитацией.

И немедленно выравниваются весовые качели,
а тот солдат, что составил перевес,
взлетает, как завитушка мадонны Боттичелли,
и уходит в Малобудищанский лес.
И спалили конструкцию, в дыму не увидев ни зги.
Кто знал, что паровоз эту тьму растревожит?
«У него, — писал Маркс, — было в сущности две ноги,
которые он попеременно поднимал, как лошадь»¹.

*1.3. ЯГНЕНОК РАССКАЗЫВАЕТ
О РАСПРЕ ДВУХ БРАТЬЕВ,
КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ ПОЙМАТЬ ЕГО
ДЛЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ,
И О ТОМ, КАК РОДИЛСЯ НОЖ*

Казалось, неба поперек
шли обычные скоты,
крутя ухмылками хвосты,
и чаяли уснуть. Пастух
меж них похож на поплавок,
нанизанный на чистый дух.

Варилась тонна комарья,
и каждая из единиц
мир обегала вдоль границ,
их сумма жгла пружиной шерсть,
мне было больно. Думал я:
есть ангел и контрангел есть,

чьи черно-белые ряды,
как в упаковке для яиц,
и с точки зрения овец,

¹ Маркс К. Капитал. Партиздат, 1936. Т. 1. С. 311.

они выносливее всех
и неделимы. Завиты
галактики — их яркий мех.

Я убегал от них, родных,
в скачке мой пыл — угольник сил,
в скачке я сахаром застыл,
расстаял и возник, паря,
я знал, что изо всех моих
ног не получится ружья.

Бег, из чего была земля?
Как два рельефа на одной
стене, они гнались стеной
за мной, о, их синхронный рев
проснувшихся в крапиве. Я
расслабился в тени врагов.

За степью пролегал каньон:
скала, обрыв, скала, обрыв.
На скалах жил десяток трав,
висел на бурых корешках
травинки в пропастях озон
в каких-то призрачных мешках.

Из-за луны и мимо нас
катился весь в слезах клубок
простых колючек. Я залег.
Они — искать! От сих до сих.
Но друг на друге взгляд увяз
преследователей моих.

Открылся чудный разворот
земных осей, я заскользил
вдоль смерти, словно вдоль перил

в зоосаду вокруг оград,
где спал сверхслива-бегемот
и сливу ел под смех солдат.

Масштаб менялся наугад.
Мой Боже, ты не есть часы.
Я есмь не для колбасы,
история — не след во мглу,
зачем вцепился в брата брат,
дай им двуручную пилу!

Сближаются. Взаимен слух.
И шаг. Мерцают кулаки.
Как проволочные мотки,
концы друг в друге ищут. Вящ
удар был брата брату в пах,
вспых! — над возней взлетела вещь.

Та вещь была разделена
в пропорции, примерно, пять
к двум; что поменьше — рукоять,
побольше — лезвие; соврешь,
сказав: длина, еще длина...

Спина подсказывает: нож,
ножа, ножу, ножом, ноже.
В проеме занавеса клин
так разбегается в экран,
как нож обнял бы небеса.
Он здесь, и — нет его уже.
Но это принцип колеса.

Вслед за блуждающим ножом
уходит человек-магнит.
Нож! оглянись! Моих копыт
раздвоенных печать в кружке
Земли.

Ночь.

Воздух пережжен.
Душа на подкидной доске.

*1.4. ПЕРВОЕ ДЕЛОВОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ,
НАПИСАННОЕ В МОЕМ САДУ,
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ПОЛЕ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ*

Ребенки — зайцеобразны: снизу два зуба, а щеки! Так же и зайцы —
детоподобны.
Злобны зайцы и непредсказуемы, словно осколки серы чиркнувшей
спички.

Вперед мотоцикла и сзади — прыг-скок! — живые кавычки!
После октябрьских праздников по вечерам они сигают в мой сад,
насмелейший проводку перегрызает и, сам чернея, отключает свет.
Я ж защищаю саженец северного синапа от их аппетита
в одиночестве полном, где нету иллюзий единства и авторитета,
и сколько-то старых привычек не противоречат всякой новой
привычке.

Я покупаю в хозмаге мешок мышеловок — розовые дощечки
с железным креплением, как сандалия Ахиллеса — где пятка
мифологическая, там у меня для приманки насажен колбасный
кружок.

А на заре обхожу мышеловки — попадают бабочки и полевки
и неизвестного вида зверьки типа гармошки в роговой окантовке.
Всем грызунам я горло перерезаю и вешаю их над ведром головой
вниз,

чтобы добыть множитель косоухого страха — кровь крыс.
Скисшую кровь я известью осветляю и побелочной щеткой
мажу остовы и скелетные ветви погуще, так, чтоб стекало с коры.

В сумерках заячье стадо вокруг сада лежит, являя сомнений бугры, —
 да! — ни один из них не пойдет хоть за билет в новый Ноев ковчег
 через ограду — столь щепетилен и подавлен мой враг.

Ножницы-уши подняли и плачут, а я в жизни не видел зайца и крысу
 в обнимку!

Я же падаю в кресло-качалку листать руководство по садоводству,
 днем тепло еще и ужи — змеями здесь их не называют —
 миллионы км. проползают под солнцем, не сходя с места,
 вот они на пригорке царят и, когда я их вижу, внезапно,
 словно чулок ледяной мне надевают — это хвощевое чувство.

Ух! Книгу читать, думать или вспоминать, а я выбираю —

смотреть!

Сразу я забываю зайцев осадных и яблоню, я забываю того,

кого вижу.

Что это в небе трепещет леса повыше и солнца пониже?

В этом краю, где женщины до облаков и прозрачны,
 зрю ли я позвонок, что напротив пупа и золотое меж них расстояние,
 линию, нить, на какой раздувается жизнь на хромосомах,
 как на прищепках — X, Y... вдруг отстегнется и по земле

волочится

краем, как пододеяльник пустой, психика чья-то — на то воля

Господня.

Там образуются души и бегут в дождевиках, как стрекозах —
 мальчишка-кислород и девочка-глюкоза.

ГЛАВА ВТОРАЯ. БИТВА

2.1.

Все отзывается, хотя бы третьему правилу Ньютона, пусть
как Одиссей, увидавший семью свою; в землю входящая
лопата кидает пласт книзу лицом, огороднику это
череп я нахожу, у него в челюстях кляп из чужого
Петр, град его вечный и тусклый — окошко, заклеенное
гетман обеих сторон Днепра запорожского войска
его крестница Марфа — ведьмачка с черно-бурым румянцем
Карл — рано лысеющий юноша, альфа-омега, Швеция, ваших
крепостной гарнизон, воеводы, солдаты держав, пришедших к позору,
я припомню их всех, через Полтавское поле сверкая
Вижу: копьё разбивает солдату лицо, вынимая из-под верхних зубов
неохотно,
плотно,
во благо, —
флага.
газетой;
Мазепа;
на скулах;
загулов,
к победе, —
на велосипеде.
бездну,

42 слышу: вой электрички, подруливаю
к переезду,
минуя хозяйство вокзальное, клинику скорби, шоссе — везде
долгий путь,
наконец, — огород, в нем лопата торчит, землю пробуя
перевернуть.
Пейзаж перепрыгивал время, а время перепрыгивало человека:
стоп! —
тормозима надеждой, сабля сыплется над головой, как веревочный
трап,
чтоб взлетал по нему человек, очевидцам оставив лишь
труп.
Кого пополам развалили, душой открывает шоссе, уходящее
клином на Гадяч,
вот рыцарь помпезный, рогаткой двоясь, меж машинами
скачет,
неискореним был боец, но увидел в автобусе панну и мчится
потрогать
за лошадиную морду он принимает на поручне согнутый
локоть,
и рухнул долой офицер, драгоценный драгун, и подняться
не может,
а лошадь
ноги забрасывает на солнце лямками сумки
через плечо.
Кто мог погибать по три раза, по три раза погиб,

и погиб бы еще
 и еще.
 Куда же вы, шведы? ¹ На месте больничного корпуса
 «психиатрия»
 они умирали, сражаясь с людьми, по чьим лицам мазнула
 стихия,
 дрались пациенты — о, скважины вырванной мысли! — трубили
 и кисли,
 на огородных работах бордовый бурак бинтовали, целуя.
 Кто пал
 на складе железнодорожном, тот встал, словно взрыв из-под
 штабеля шпал.
 Ты, начавший еще при Петре, муравей, через поле твое странствие
 длится!
 В гуще боя я б мог продержаться не долее вечности, заголяемой
 блищем,
 в гуще боя я на раскладушке лежал бы в наушниках музыки мира
 под абрикосой,
 перепрычет ли время меня? Переправа. Наушники — мостик
 над Ворсклой.
 Кто б из рыб проскользнул меж сапог, и копыт, и обозных
 колес?
 Так запуталась местность летучая в армиях, в прядях
 волос.

¹ Слова Карла XII, обращенные к отступающим полкам соотечественников.

44 Ты, кристальная бабочка, разве не будешь изрублена
саблями битвы?
Проще в щелчке фотозатвора порхать, чтоб выйти подобно
клятве
войска: всезернием запечатляя верность сиятельству
света.
Поле, что тебе свары? Русские — мак и полынь, дрок и васильки —
шведы.
Это поле мой сад вытесняет на небо, фокусируясь в бедной моей
лачуге,
комары надо мною разломом гранита зернятся, морочат свечу,
и —
это поле казалось мне центром планеты, вдруг всплывшим
наружу,
кулаком серебристым, сжимающим точку, откуда исходит
оружие.

2.2. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Сколько однообразья в солдатах, когда их полки объезжают
царь и король!
Все хотели понравиться этой войне; все сияли, но кто же
герой?
Отделяется он от рядов сцепленных так, что ни трусов там нет,
ни героев,

как, сойдя со стены, трепеща и прямясь, уплыла бы полоска
обоев.

2.3. *КАРЛ*

На восьми туманах-гвардейцах над битвой в коляске несомый
покачивается между пуль и в музыку боя вливается, словно
Карл, не будь у тебя ни врагов, ни армад, а только деньги
ты не спал бы величеством тела на величестве пляжа,
рыбацкой нанял бы десятерых, чтобы дрались против тебя и
от твоего лучезарного идиотизма ослеп Мазепа и его
если жмурился ты, шли навстречу короны каркасами
но простейшие не объяснят генералам, где знамена полки
воевать — это тебе не зайцев стрелять в сейме, прости, излагаю
это тебе не стекла побить с друзьями в лучших домах
Стокгольма.

46 Я бы создал вам землю вторую, но материалов хватит на небольшой шар
диаметром около метра; военные на него ложатся в скафандрах, дыша
из одного баллона, и друг друга гоняют по законам, оговоренным ООН,
переползая, словно чулок по лампочке, когда его штопают со всех сторон.
Вот спугнул офицер офицера и на челе у того сосчитал капельки
это, значит, разбита в таком-то районе такая-то, скажем, пота,
пехота.
Нет, тебе нравится ездить с оружием и помрачать бесконечности русских окраин,
нравится, если: а) колют, б) рубят, в) режут; мне нравится шведский дизайн,
думаю, Карл, от признаний моих ты бы впал в драгоценную ярость:
город для пыток меня ты в ответ основал бы и не ощутил бы усталость.
Здесь я, фью-фью, что искать и ветвистою злобой морочить астрал?
Королю наливают стакан, — я его осушаю, и меня не ведут на расстрел;
вот я бью короля по щеке, и король подставляет другую — не видит меня;

ждет его допелыклепер лифляндский под турецким седлом —
я ладонью полполя королю закрываю, где солдат Авраам¹ похищает
шведское знамя, —
Карл не в силах меня наказать — мертвые не управляют
нами,
мертвые ходят в одеждах из яблочных шкурок на воздухе
летнем,
лишь вещества! — а историю сделает тот, кто родится
последним.
Видишь, горки на поле тут и там возникают, оседая мгновенье
спустя, —
это всадники сшиблись, их кони — на задних ногах, а передними —
воздух вертя;
осыпается круча, где смерть сердцевины горы вычищает
подкопом,
и летит в пустоту человек и уносится неким
потоком.
Кто убит наповал, выпадает из сечи, как батарейка, выкатываясь
из гнезда,
и разряжается в землю, и всходит над Ворсклой неназванная
звезда.
Ты взираешь в трубу золотую, в трубу золотую, в трубу,
ресницы теряя и, увы, интерес,

¹ Солдат Нижегородского полка Авраам Иванович Антонов, прокладывая себе дорогу саблей, первым захватил трофей — знамя шведов.

Карл, на черепе у тебя можно прочесть — дубль-ве! — ты почти уже
лыс!

Кто же поле приподнял с враждебного края, и катится войско
на Карла, и нету заслона,
стала бессмысленной битва, словно на каждом бойце было написано
Слово.

Есть черепаха на Ворскле, а у черепахи — неприступный
затон,
она похожа на лампу, запаянную в непроницаемо-черный
плафон.

С нею нет никого. Ею никто не питается. Ее коготь
заразен.
Карлу она — друг, брат и сестра — черная черепаха с пятиугольным
глазом.

2.4. ИВАН МАЗЕПА И МАРФА КОЧУБЕИ

В доме снеди росли, и готовился пир, так распорядился
Мазепа,
третий день во дворце блюда стояли, и уже менялся
их запах,
мычали коты от обжорства и неподвижно пересекали залы;
дичая,
псы задыхались от пищи, под лавками каменели,
треща хрящами,

рыбы лежали — пока их усыпляли, они подметали хвостами двор,
зеркала намокали в пару говяжьих развалов, остывал узвар,
тысячи щековин соленых, моченые губы, галушки из рыбных филе,
луфари и умбрины в грибной икре черствели в дворцовой мгле;
полк мухобоев караулил еду, и гетман ступал в шароварах, как языки,
кривые турецкие вина носили бессонницей трезвые казаки;
столь долгоносые мыши, что, казалось, наполовину залезли в кульки, алели
бесстрашно на солнце закатном, и, если от них вести параллели,
мы наткнемся на красные перцы в бутылках — так же спокойны они,
и еще: словно жгучие перцы в стремительной водке, мутились свечные огни,
и бурели привезенные из Афона лимоны; были настезь открыты
окна, затянутые холстами, и пышные всюду завиты рулеты,
и рулетики с хреном, обернутые салатным листом, и посуды — нет им цены! —

и еще: поглядите, пан гетман, какие занялись вашим домом
цветы!

Поглядите, пан гетман, какие цветы ваши очи измором
берут!

Красниус мальвиус роза засовы срывает с тяжелых
ворот.

Марфа, виновница, имя, в которое вставлена Ф —
буква-мужчина,
медленно входит в хоромы и останавливается смущенно.
Что-то сказал ей Мазепа и смазал ее кулаком по уху.
Марфа
прыгнула прямо на гетмана, ступни ее, словно ленточки в небе.
Мазепа
вправо успел уклониться, а левой рукой отбросил противницу.
Марфа
села на корточки у стены и отдыхала, волосы — лимонного цвета.
Мазепа
к ней подошел и ударил ее острым носком по колену.
Марфа
вскочила, и оба, потеряв равновесье, упали и покатались.
Мазепа
бедро ее оседлал и взвыл, задирая искусанное лицо, и — покатались:
снизу

§ Мазепа ей говорит: я не ищу себе места в тебе,
Крестница кровь стирает с лица, платье разорвано сзади
и на груди,
лопатки ее сближаются так, что мог бы Мазепа их вишенкой
соединить, —
несмы доволен Владыко Господи, да увидиши... — но тотчас теряет
нить, —
несмы доволен Владыко Господи, да увидиши под кров души
моея,
всякий кусок золота в невесомости принимает форму тела
ея.
Ввел он крестницу в спальню, где окна распахнуты и пахнет
травой,
пол покачнулся под ней, и от испуга вцепилась она в рукоятку
над головой
и взлетела.
Пыль оседает пока, мы разберем гордый закон
механизма:
гостил у Мазепы однажды инженер из Вероны, пионер
терроризма,
с фиолетовыми волосами, что-то от барбариса под слабым дождем;
Мазепе
в доме мечталось давно оборудовать мышеловку для знати;
трепет

объял инженера, он создал устройство и ускакал возводить карусели
в Варшаве.

На потолке были два блока из дуба укреплены и свободно
вращались,

специальный канат был пропущен по блокам,
и с одной стороны
к нему привязали бобовой формы местные валуны, а с другой
стороны
цилиндр, в котором был вырезан паз для упора, дабы не давать
грузу

увести через блоки канат, но если тянуть его на себя,
сразу

упор вылетал из гнезда, и хитрый канат вверх забирал
машинально,

так и Марфа, дернув за рукоятку, была поднята
над спальней,

этого мало: место, где стояла она на полу, обратилось
в колодец.

Так задумал Мазепа.

Так исполнил веронец.

Что сказать о колодце, когда он ни звука не возвращал и топил
перспективу?

Легче влезть на стеклянную гору или разговорить полтавскую
деву

в угольно-синем белье под оранжевой газовой блузой,
оборона во взгляде.

54 Сколько старшин и полковников Хортицы себя показали
на италианском снаряде!
Сколько бледнели они — лишь бахрома кумачовых рубцов на лице
набрякала,
канули воеводы, и рукоятка, качаясь, их души вокруг
растолкала.
К той рукоятке мясо цепляли, кусища ну прямо с пирушки
пещерной, —
взвейтесь, собачки, и затвердейте от страха, торча,
как прищепки!
Марфа летала туда и сюда, каблуки наставляя на гетмана,
амплитуда свежела,
вот ее вынесло кверху, и воздух она обняла, отпустила
и села
гетману прямо на плечи, и он покачнулся, и левой рукой
прикоснулся к эфесу,
и ощутил щеками укол шелка чулок, побудивший в нем силу,
поперечную весу,
силу, берущую в битву полезную Дарвина и морскую звезду, —
всех! — помимо
той черепахи — см. предыдущую главку, — что с Карлом
сравнима.
В мышцах любовников смешана крепость лопастей
и небес,
а когда возвратились они, увидали: в тысячах
поз

казаки сопели, в испарине разбросанные, словно отрезы
ножки собачек скобкой согнулись, а спинки утрамбовались,
ибо — эволюционировали: с нижних лавок взяли запасы и захотели
торты нетронутые лежали, но башни их повреждены — все в луковых
и рыбы скелеты — мел, а головы их — фольга, а в мисках
уши кабаньи — 6 штук, у него бывает и больше, когда
у лучших котов концы хвостов раздвоились и умели
мерцали осколки тарелок — были съедены тыщи и не съедены
иглицы-птицы, зобы раздувая, клевали столы и пушистые сдобы
грудилась кости обглоданные и дрожали кустиками
были колбасные палки проедены вдоль для забавы, но как —
всюду играл холодок, и ловили друг друга по залам, как львы,
дух вычитанья витал, и торчали ножи, распрямляясь в святой
простоте,

☞ по одиночеству с ними сравнимы законы природы, ярящиеся
в пустоте.
Солнце стояло в зените, и ночь во дворце, несмотря на раскрытые
ставни,
может, к дверным и оконным проемам были привалены камни,
я допускаю...

2.5.

Ни золотой саксофон за плечами, ни мотоцикл, ни брыль с полями...
Ты бредешь по стране под названием «у», подобная рентгенограмме.
Саксофоны... моторах... навстречу... размазываясь... панораме.

Что за воздух вокруг! Самый тот, что придал человекам носы!
Эти почвы пустили две крепких ноги для Адама степной полосы.
Бритый затылок, свисток из лозы, сиянье бузы и покосы взы-взы.

И создание на смерть ать-два, в оловянных ободьях неся барабаны,
закругляя свой путь и сужая, как панцирь устроен рапаны,
и над конницей в небе не больше, чем школьные парты, парили
фарманы.

Но я стал музыкантом, а не адмиралом, работая в сельском баре,
где аграрии пили за любую пылинку, и всем воздалось по вере,
где дельфины в панамках шутили с блондинкой, найденной в море.

А тебя не листали стеклянные двери, молчали на них колокольцы,
и в камнях взволновались мельчайшие волоконцы,
времена сокращая, когда ты в наш бар вошла обогреться.

Ты была, словно вата в воде, отличима по цвету едва от воды,
а мы — оскаленными чернилами вокруг тебя разлиты,
есть мосты, что кидают пролеты в туман, и последний пролет — это ты.

Я увидел: идет за тобой неотвязно размахом баталия,
в обороне бароны и боров на них с бороной, и другие детали...
Все, теснимые бездной, края твоих юбок топтали.

Разрубленная сорочка. Разрубленная кожа. Разрубленная кость.
Измельчение молекул. О, рознь всласть! Есть
размеры, где жизни нет. Температура окрест 36,6.

Легче делать людей при такой погоде, чем их ломать.
Здесь и там ты расставлена вышками по холмам,
и огранкой твоих повторений охвачена битва — алмаз.

Как тугая прическа без шпильки, рассыпается этот ландшафт,
и на поле другое те же войны валом спешат,
шурятся с непривычки — они из других временных шахт.

Ведь полки могут строиться по вертикали,
повисая в небоскребах атак, образуя тающие гантели,
сталкиваясь наобум с теми, с кем ссориться не хотели.

82 Я узнал в тебе Марфу, носящую семя Мазепье.
Две косицы желты, карандашики словно, изгрызены степью,
только мой саксофон оценил твое великолепье!

Ты — граница бродячая, всех разделившая стенами, —
водоемы, леса и пустыни песчинок, сочных военных.
Государства лежат между Марфами или Еленами.

Баю-баю, под нашими вишнями дремлешь, колыша гамак,
кровь твою над тобой стертым зеркальцем крутит комар,
он щекочет радары армад.

2.6. КОМАР

Ты, комар, звенел в поэме,
в Петербурге, в Вифлееме,
жалил автора «Аморес»,
не жалел свиньи в помоях,
выходи на резкий свет,
сдай поэту свой стилет!

Хором Солнце заслоняя,
как фата, сияет стая,
разворот, и — черным крапом
вы качаетесь под небом.
Что такое небеси?
Закругленье на скругленье,
точка, тачка без оси.

В комаре ли, в Вавилоне,
свиты тысячи мелодий,
кровь правителя и зека,
лошади и человека,
Лига Наций наш комар,
он — инцест, пунцовый шар!

Вот сидит комар-мечтатель
на виске, как выключатель.
Чин кровавого побора.
Хочет грифелем Памира
на арктическом щите
написать: я в пустоте.

Ты всему эквивалентен,
ты пустотами несметен,
комарье с деньгами схоже,
только те — одно и то же.

Облак твой легко умел
строить формы наших тел.

Вы составились в такого...
Полетела ваша лава
над гуляющим Стокгольмом
казаком краугольным
к северному королю.
Он заглатывал пилю-

лю. А вы перед монархом
вывели своим манером
кровеносную систему,
как разбитая об стену
вдрызг бутылка каберне, —
капля в каждом комаре!

Вы казались человеком
шведу. — Что мне здесь под снегом
чахнуть! — Карл вскрикнул. — Гарвей
опрокинут мощью армий,
есть иные смыслы крови! —
И направился к Полтаве.

Ты, комар, висишь над битвой,
в парикмахерской — над бритвой,
воин, поднятый на пиках, —
на своих ногах великих
над сражением — комар.
От ужора умирал.

Умирал, но — обожая
Марфу. Губы освежая —
Марфой. Где она ложится,
в картах чертится граница,

начинается война,
комаровичей весна.

Он за Марфой паром вьется
в виде, что ли, пехотинца,
энского полка эпохи
Северной войны. В дороге
по стране с названьем «у»
все доступно комару.

2.7. МЕДНЫЙ КУПОРОС. ВТОРОЕ ДЕЛОВОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Здесь я отдыхаю после похода десятилетнего завоевательного
на пятачке чернозема в обилии дательного и зевательного,

в небе складками молний трещат хрустальные флаги,
клубни картошки торчат из земли, словно локти из драки;

бултых в океан, ночная страна, срывающая времен пояса!
Да, кот забегает ко мне вслед за крысой, а еще лиса

вслед за крысой, но наперерез коту, а он — котам атаман!
Кыш, коллектив зверей! — я в бодрый бью барабан.

Погружу микроскоп в лепесток и окунусь в окуляры,
там, словно в Смутное время в Москве, смерти размеры.

Вот разведу купорос, контролируя лакмусовой бумажкой!
Пешкой кажусь я огромной в балахоне и шлеме шагая дорожкой.

Сад обливаю, как написано, «до полного смачивания» из шприца.
Уж бирюзовыми стали томаты, черешня и мазанки черепица.

Все. Жгу отравленные одежды — не употребляемые дважды.
Сад озираю, выкупанный в купоросе, тяжелый и влажный.

Глухо вокруг, но не надолго — первыми выключаются мухи
и останавливаются, повсюду себя оставляя звенящими в прахе;

вновь тишина, а через час валится разом весь колорадский жук
вверх каблуками и оком вощеным защелкнув последний миг,

следом — личинки — коралловые, живьем непохожие на живых,
пильщики, деревоточцы, стеклянницы, — две золотых.

Я же писал тебе: «Есть неорганика в нас, и поэтому
стал я внимательней к собственному устройству скелетному,

к своеволию мертвой природы во мне, что роднит меня
с камнем и облаком происхождения метеоритного,

я скажу тебе больше — аж до шевеленья волос —
кристаллизуется в каждом из нас голубой купорос.

Мне одиноко, хоть пес мой за мною следит, как подсолнух,
нету в округе подобных мне, истинных ли, иллюзорных,

нож заржавел моментально и разломился, как бородинский хлеб,
хлябь разверзлась, и камни вскочили на ноги, чтоб

мне в зрачки заглянуть и шепнуть кости моей: улови,
даже если не через живое, приращенье любви.

64 Помнишь, на бровке ты голосовала — ночи была середина —
в позе застыв человека, кормящего с пирса дельфина,

помнишь, подъехала тихо машина, и уплотнились поля,
купоросного цвета дельфин ее вел, не касаясь руля...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, ЦАРЬ НАГРАЖДАЕТ

В сознании полтавчан битва не теряет актуальности и в наше время. Эпизоды сражения живо обсуждаются в транспорте, в очередях, на парковых скамеечках. В ностальгических стихах современных баталистов есть стремление повернуть историю вспять, чтобы снова увидеть победителя и побежденных, ощутить возможность и смысл героизма. Привожу сердечные и несколько неуклюжие строки, появившиеся в газете «Ворскла» от первого июля 1984 года:

*А с пьедестала смотрит величаво
сам Петр, как будто бы живой,
и вспоминает дни военной славы
и памятный Полтавский бой...
Нас не одна эпоха разделяет,
а двести семьдесят пять лет.
Здесь перед тобой лежит земля родная,
здесь поле славы и побед.*

Царь сердца осязал конкретно, как доктор Амосов.

Царь наградил небо землю и наоборот.

Царь утвердил циркуль в груди генерала и очертил полмира.

А тебе — ворону на грудь, ты не подвел.

⌘ Как царица Химия, царь стоял перед ними.

92 Трубили ангелы в костяные горны.
Царь над героем склонился.
Голову развосьмерил в надраенных пуговицах его.
На фрейлинах — юбки густые со льдом.
Пряные кавалеры поодадь.
Царь стряхивал с лица невидимые морзянки — лицом.
Казалось, не было у царя рук.
Уже в размере его стопы содержится часть пути.
Царь награждает.
Медали теплели на груди офицеров.
Времяобразование.
Фрейлина вполоборота.
Бывает, у большей рыбы меньшая торчит изо рта.
У царя голова была мала.
Тело ело царя.
Поскольку материя неуничтожима, главное в ней — выносливость.
Не с людьми сражаетесь, а со смертью.
А из бессмертья какую свободу ты вынес?
Если сражаешься ради резона, резоннее сдаться.
1461 пушечный выстрел за пять часов боя, а?
Нева в папоротниках весельных лодок.
А паруса — скорлупы выпитых яиц.
Царь награждает.
Отвагу — подобием человека.
Терпение — подобием отваги.
Землю — тенью своей.

Царь — награждает.

Перспективу, за то, что удар уточняла, даль сведя воедино.

Камни — геном времен: от камней происходит время.

Царь свинец награждает — вниманьем: записывает: свинец.

Смерть! Шведами тебя награждает царь!

Любовников боя — ложем с гипсовыми пружинами, пусть лежат
неподвижны!

Царь сел перед армиями и стал книгу листать и долго листал.

Где брат мой, Карл?

Как борода на спиннинге — на шляху перепуталась божевольных
толпа.

Здесь ли царь брата искал?

Где брат мой, Карл?

Царь награждает.

Поле ночное в переливах лазутчиков — звездой из 1000 жерл.

Где брат твой, Карл?

Трех лошадей под фельдмаршалом раненных, обвенчал святотатец.

Где, Карл, твой братец?

«Побеждающий да не потерпит вреда от смерти второй».

В топких венках гроба офицеров.

Царь награждает.

Историков — чем попало.

А пленных — обедом.

Военспецам немецким в спецовках царь за ЦУ выдал русские деньги.

Мальчишки казнили маршала шведов.

Зеркало подносили к его очкам.

88 Маршала шведов били палками.
Маршалов пальцы белели.
Награждаются:
Меншиков А. Д.,
Я. В. Брюс,
Шереметьев Б. П.,
М. М. Галицын,
Репнин А. И.,
И. И. Скоропадский и др., не вошедшие в кадр.
Где брат мой, Карл?
Ему — «камень и на камне написано новое имя, которого никто...»
Царь награждает.
Царь меня награждает.
Цифры, за то, что они легче времен и не тонут — павшими одушевил.
Крепости коменданта А. С. Келина львом наградил, влитым в металл.
Фары патрульной машины на повороте сдирают шкуру со льва.
Вечер в Полтаве и во всей Европе.
Сияют фонтаны.
Офицеры выходят из театра.
Бронзовый лев держал в зубах чугунное ядро.
Давно укатилось ядро, но лев не чувствует перемен.
Вид его ужасен.
Следствие не помнит причину.
Царь награждает.

Где брат твой, Карл?

Там, в степи,
шел твой дубль
на убыль.

Будь поле чисто, как воздух!

Железо, брысь!

ФИГУРЫ ИНТУИЦИИ

ВСТУПЛЕНИЕ

ветер времени раскручивает меня и ставит поперек по-
тока
с порога сознания я сбегая ловец в наглазной повязке
герои мои прячутся в час затмения и обмена око за око

ясновидящий спит посредине поля в коляске
плоско дух натянут его и звенит от смены метафор
одуванчик упав на такую мембрану получает огласку

взрослеет он и собрав манатки уходит в нездешний
говор
в рупор орет оттуда и все делают вид что глухи
есть мучение словно ощупывать где продырявлен ска-
фандр

так мы ищем с ужасом точности в схожестях и в округе
флаги не установлены жаль в местах явления силы
нас она вдруг заключает как оболочки в репчатом луке

с нею первая встреча могилою стала бы для мазилы
жилы твои тренированы были и подход не буквален
плен ее ты не вспомнишь взамен бредя на вокзалы

ласков для путника блеск их огненных готовален
волен ты ехать и это опять мука видеть начало
пахнет спермой и тырсой в составах товарных

ритм лова лететь в самолете а тень его как попало

то ли дело на облаке близком ли дальнем нижнем
пульсирует исчезая там на земле а с ней твое тело

в путь пускаясь замки свороти и сорви задвижки
вспышки гнева пускай следопытов жгут у порога
тебя догонять или двери чинить спасать вазы и книжки

пусть вдохновится тобой коляска ли Карамзина руль
Керуака
разве дорога не цель обретения средства
ветер времени раскручивает тебя и ставит поперек поток:

СИЛА

Озаряет эпителиальную темень, как будто укус,
замагниченный бешенством передвижения по
одновременно: телу, почти обращенному в газ,
одновременно: газу, почувствовавшему упор.

Это сила, которая в нас созревает и вне,
как медведь в алкогольном мозгу и — опять же —
искривившейся комнаты, где окаянная снедь. в углу

Созревает медведь и внезапно выходит к столу.

Ты — прогноз этой силы, что выпросталась наобум,
ты ловил ее фиброй своей и скелетом клац-клац,
ты не видел ее, потому что тащил на горбу
и волокна считал в анатомии собственных мышц.

В необъятных горах с этим миром, летящим на нет,
расходясь с этим миром, его проникая в пути,
расходясь, например, словно радиоволны и нефть,

проницая друг друга, касаясь едва и почти...

Ты узнал эту силу: последовал острый щелчок, —
это полное разъединение и тишина,
ты был тотчас рассеян и заново собран в пучок,
и — еще раз щелчок! — и была тебе возвращена

пара старых ботинок и в воздухе тысяча дыр
уменьшающихся, и по стенке сползающий вниз,
приходящий в себя подоконник и вход в коридор,
тьмю пробранный вглубь, словно падающий кипарис.

БЕГСТВО-I

Душно в этих стенах — на коснеющем блюде впотьмах
виноградная гроздь в серебре, словно аквалангист
в пузырях,

в вазах — кольца-шмели с обезьянними злыми глазами.
Отхлебнуть, закурить на прозрачном аэровокзале.

То-то скулы в порезах бритв — не ищи аллегорий —
утром руки дрожат, нету вечера без алкоголя.

Это Патмос ли, космос в зеркале, мои ли павлинии
патлы?
Со стремянки эволюционной тебя белые сводят халаты.

Будешь проще простого, хвостатый, а когти, как лыжи.
Разве, как на усищах гороха качаясь, мы стали бы
ближе?

Вынь светила из тьмы, говорю, потуши в палисаде огни,
на прощанье декартовы оси, как цаплю, вспугни.

Словно славянским мелом, запятнан я миром, в залог
я крутой бесконечности сдался и стал — велоног.

Взлет. Мигалка стрижет фюзеляж, отдаваясь
в чернотах иглой.

Подо мною Урал или Обь, — нет тебя подо мной.

Вот и Рейнике остров и остров Попов и пролив Старка.
Тот, кто движется, тот и растет, огибая источники страха.

Из пучины я вынес морскую звезду и вонзил
в холодный песок.

Словно рядом с собою себя же ища, она станцевала рок,

стекленя, кривую лелея в каждом тающем жесте.

В центр я ее поцеловал: она умерла в блаженстве.

ДЕНЬГИ

Когда я шел по Каменному мосту,
играя видением звездных войн,
я вдруг почувствовал, что воздух
стал шелестящ и многослоен.
В глобальных битвах победит Албания,
уйдя на дно иного мира,
усиливались колебания
через меня бегущего эфира.
В махровом рое умножения,
где нету изначального нуля,
на Каменном мосту открылась точка зрения,
откуда я шагнул в купюру «три рубля».

У нас есть интуиция — избыток
самих себя. Астральный род фигур,
сгорая, оставляющий улиток.
В деньгах избытка нету. Бурных кур,
гуляющих голландский гульден,
где в бюстах королевская семья,
по счету столько, сколько нужно людям, —
расхаживают, очи вечности клюя.
Купюры — замеревшие касания,
глаза и уши заместить могли б.
Ты, деньги, то же самое
для государства, что боковая линия для рыб.

И я шагнул с моста по счету «три».
О золотая дармовщинка!
Попал я денег изнутри
в текучую изнанку рынка.
Я там бродил по галерее
и видел президентов со спины
сидящих, черенков прямее,
глядящих из окон купюр своей страны.

Я видел, как легко они меняют
размеры мира от нулевой отметки.
И с точностью, что нас воспламеняет,
они напряжены, как пуля в клетке.

Я понял, деньги — это ста-
туя, что слеплена народом пальцев,
запальчивая пустота,
единая для нас и иностранцев.
Скача на окончательном коне и делаясь все краше,
она язвит людские лица,
но с ней не мы сражаемся, а наши
фигуры интуиции.
Как заводные, они спешат по водам,
меж знаков водяных лавируя проворно,
что мглятся, словно корабли из соды
в провалах тошнотворных.

В фигурах этих нет программного устройства,
они похожи на палочный удар
по лампочке; их свойства:
не составлять брачующихся пар
в неволе; прятаться, к примеру,
за пояском семерки, впереди
летающего снаряда, и обмена
они не подлежат, словно дыра в груди.
О них написано в «Алмазной сутре»,
они лишь тень души, но заостренной чуть.
Пока мы нежимся в купальном перламутре
безволия, они мостят нам путь.

Они летели, богатства огибая,
был разветвлен их шельф,
они казались мне грибами,
оплетшими вселенский сейф,
везомый всадником пустот, царем финансов —
все деньги мира на спине —

куранты пробили двенадцать,
и всадник повернул ко мне.
Дрожа, как куртка на мотоциклисте,
как пионер, застигнутый в малине,
я слышал его голос мгlistый:
— Ну что ты свой трояк так долго муссолини?

Фигуры интуиции! В пустыне
они живут, проткнув зрачки
колючками. Святые
коммуны их в верховиях реки
времен. У нас есть кругозор и почта,
объятья и земля, и молнии в брикете...
У них нет ничего, того, что
становится приобретеньем смерти.
Они есть моцарты трехлетние.
Ночь. Высь взыскательна. Забориста тоска.
Тогда фигура интуиции заметнее:
она идет одна, но с двух концов моста.

Трояк салатный, буряковый четвертак
и сукровица-реалист-червонец!
А я за так хотел витать
в тех облаках, где ничего нет,
похожего на них, и где «чинзано»
не исчезало в баре Бороды,
где мы под молнией у Черного вокзала
втроем устойчивей молекулы воды.
Но вновь народовольческий гектограф
морочал сны юнцов, и прилетал Конь Блед,
которого карьер так от земли оторван,
что каждый раз в прыжке конь сжат, как
пистолет.

Нас круговодит цель и замыкает в нас
холодную личинку новой цели,

дух будущего увлекает глаз:
сравнение целей порождает цены.
Купюра смотрится в купюру, но не в лоб,
а под углом прогресса, и похоже
в коленчатый уводит перископ
мою судьбу безденежную. Все же
дензнаки пахнут кожей и бензином,
а если спать с открытым ртом, вползают в рот.
Я шел по их владеньям, как Озирис,
чтоб обмануть их, шел спиной вперед.

История — мешок, в нем бездна денег.
Но есть история мешка.
Кто его стянет в узел? Кто наденет
на палку эти мощные века?
Куда идет его носитель?
И знает ли он, что такое зеркала?
И колесо? И где его обитель?
И сколько он платил за кринку молока?
Пока я шел по Каменному мосту
и тратил фиолетовую пасту,
не мог ли он пропасть? остановиться?
и кто был для кого фигурой интуиции?

ПЕРЕНОС

В свете времени я, словно актер, схваченный
в контражуре,
жмурясь от тьмы, вглядываюсь в человекообразную
тьму;
где ни брожу, а фигура моей интуиции
возвращается к Джуне,

она разделяет меня на сто половинок и запускает
в Кремль;
еле освоюсь, я замечаю, что стою среди тех, кто
со стороны фундамента видит: сводов небесных —
семь.

Над головами сидящих — минареты теней, будто
с бухты
в сектор обзора входит предрассветный Каир,
или президиум снизу нанизан на маломощный
проектор...

Аплодисменты и речи, идет заседание и переходит
в пир.

Первый — здесь, и — Шестой, а между ними,
пляясь
выработанным нутром, шахта сидит, известная
на весь мир,

Пятый выпячивает губу и задирает синхронно
палец;
марганец кислый так растворяется, как
танцовщица — ткань
газовую распускает по залу; Третий глядит
оскалясь.

Я различал в их движениях медленных некую
грань,
дрянь ли, стекляшка, — казалось, что остренький
кубик
прямо за ворот попал им, — попробуй, достань!

Это был временной разнобой, словно ленту
архивную крутят,
купол зала моргал, словно бык, понимающий,
что — убит.

Мне же открылся закон совпадения материалов и
судеб.

Я любил побережья в морской капусте, под
лунами — неолит,
и еще — если налит стакан каберне, излученный
маковым полем...
Нет, я здесь, я спускаюсь все глубже в казенную
мглу пирамид,

разделенный на сто половинок, я двигаюсь роем;
застолье,
что ли, в шествие переходит, — все стремятся в
тоннель,
и, сплотясь, как початок большой кукурузы,
скрываются в штольне.

Что несли они? что заслоняли собой? какова была
цель?
Ель шинельная с голубизной, отвечай мне прямой
наводкой!
Годы смерти несли и великого страха постель.

Да, владыку несли, он мог быть разделен на
щепотки,
он мог быть разделен на щепотки, щепотки,
щепотки,
он мог передан быть по цепочке, цепочке, цепочке,
он — пылинкой по космосу мог бы и частью твоей
красоты,
территория ты или дева — в дичающем слове
не важно!
Расщепляясь, он мог бы себя уточнять до самой
пустоты.

Как совок, изогнулось краями пространство и —
ух! — протяжно
дружно с мумией ящик спустили с державных плеч,
он лег, застревая косо. Тут я ощутил подкожный

толчок и... очнулся в Грузии. Танцы. Иная речь.
Сигарету зажечь? У тебя — достоинство, у меня —
свобода.

И на капельных рожках улиток переминалась ночь.

На плечах твоих — ягуар. На скулах твоих —
позолота.

Все в порядке. Разве этого мало? Гляди, в ворота,
как лимонная линза в шелку пылая, за нами
въезжает «Лада».

БЕГСТВО-II

Пыль. Пыль и прибой. Медленно, как
смятый пакет целлофановый шевелится,
расширяясь,
замутняется память. Самолет из песка
снижается, таковым не являясь.

В начале войны миров круче берет полынь.
В путь собираясь, я чистил от насекомых
радиатор, когда новый огонь спалил
половину земель, но нас не накрыл, искомым.

Пепел бензозаправки. Пыль и прибой. Кругом —
никого, кроме залгавшегося прибора.
Всадник ли здесь мерцал, или с неба песком

посыпали линию приборя...

В баре блестят каблуки и зубы. Танец
тянется, словно бредень в когтях черепахи. Зря
я ищу тебя, собой не являясь;
нас, возможно, рассасывает земля.

РЕВНОСТЬ

Тот, кто любит тебя, перемены в тебе ненавидит,
но дела государственные — сплошные петли
и выкрутасы; на загородной вилле
аурум клоочет в кубышках; вряд ли,
бродя по жарким спальням, она понимала
наплыв неуверенности и тревоги, —
почему светильник валютный открыл забрало,
и ало озарены на столе «Работница», «Вог», и
предметы колеблются в присущих гнездах,
перебирая черты свои, словно актинии —
бахрому на протоке; о, слезы, слезы
душат, а между висками — гул угнетения;
почему она, словно выдоха углекислый газ, —
ненужная, зеленая, злая?

Кто на пороге? Или новый Марс?

Она пьет коньяк, оставленный с юбилея...

Она падает в кресло, и тотчас меркнет
ее сознание, принимая вид
зрячего пузыря, на который сверху
рысь-левица с ножом летит.

Ее мучит ревность и недоверие:
муж и его однокурсница. Их
одних она видит за партией; перья
сцепились в чернильнице, — ну и псих!
Дочь полководца... и вот на стрельбище

они целят в одну мишень, ворошиловские
стрелки.

Икры жены подрагивают, как те еще
красные амазонки, нажавшие курки.

Ревность гонится без оглядки
за своей остановкой, детский волчок.
Но где остановка? В беспорядке
разбегается вечность. На чем
ни задержишься — начинается заворот
в беспредельность; ревности необходим
в идеале кадавр, вернее, аура,
похищенная у той, кем ты был любим.
Типа колебательной реакции Белоусова
или распространения магнитофонных кассет,
она цитадели проникает, обшаривает русла,
в пустынях на свой налетает след, —
там та же ревность, как радушный наемник,
что душит подушкой в мертвый час,
там тундра с вороной и горький ельник
мельтешат по дороге в военную часть,
там двое влюбленных катят в штаб
на резком автомобиле в объездах круглых
(ревность метит их крестиком), но... ухаб! —
их рефлексы сжались, словно эры в угле.
Ай, вместо крестика — обидная каракуля!
Из ворот собачка летит, кипя, как плевок.
Съехала набок папаха из каракуля.
Хлопая дверцей, краля выходит, не чуя ног.

Бродит жена по спальням и лопает яблоки,
Пенелопа.

Сцены ревности в голове ее вымирают
от повторения.

Муж в свое отсутствие стоит у гроба

диктатора, выходящего, теряя управление,
из своей яростной оболочки, что дрожит

в кристалле,

и сужаются круги незнакомых улиц —
он уходит в небо; от него остались
лишь скелет да сосед, конькобежец и детолюбец.
Диктатор шел через чашу бронзовых камышей,
кривясь наподобие лопасти —
воздуху прикоснуться страшно. Миллионы шей
кивали ему. И екали пропасти.
Он шел на встречу с собой, другими
овладевая по принципу ревности,
он шел, коллапсируя, давка дебилов,
и получалось — по принципу реверса;
он застопорился, с точки зрения жертв его,
и ему покорялись все новые области.
И его ревновали граниты. И мертвого
разрывали вакханки. И екали пропасти.
Это было вполне в его духе; граниты
шли за ним, и он крикнул им что-то в финале.
Но зова не слышали маршалы свиты.
И вел их все глубже товарищ фонарик.

КОТЫ

По заводу, где делают левомецетин,
бродят коты.

Один, словно топляк, обросший ракушками,
коряв.

Другой — длинный с вытянутым языком —
пожарный багор.

А третий — исполинский, как штиль
в Персидском заливе.

Ходят по фармазаводу
и слизывают таблетки
между чумой и холерой,
гриппом и оспой,
виясь между смертями.

Они огибают все, цари потворства,
и только околевая, обретают скелет.

Вот крючится черный, копает землю,
чудится ему, что он в ней зарыт.

А белый — наркотиками изнуренный,
перистый, словно ковыль,
сердечко в султанах.

Коты догадываются, что видят рай,
и становятся его опорными точками,
как если бы они натягивали брезент,
собираясь отряхивать
яблоню.

Поймавшие рай.
И они пойдут равномерно,
как механики рядом с крылом самолета,
объятые силой исчезновения.

И выпустят рай из лап.
И выйдут диктаторы им навстречу.
И сокрушат котов сапогами.

Нерон в битве с котом.
Аттила в битве с котом.

Иван Четвертый в битве с котом.
Лаврентий в битве с котом.
Корея в битве с котом.
Котов в битве с котом.
Кот в битве с котом.

И ничто каратэ кота в сравнении со статуями диктаторов.

МЕДВЕДИ

Все меньше животных в столице.
Все реже медведей черные факелы
машут нам из-за башен
высоток,
все чаще падают они с воем
во время затмений Солнца.

Фыркая, лижут на крышах уши
статуям в бескозырках.

Полупрозрачные.
Так, не медведи, а взбаламученные чайники.

В пустынных цирках
их пеленают в брезент,
как большие конфеты,
выбивают симметрию из них ломами,
скособочивая к добру,
чтоб понимали:
хорошо быть коровой в Индии,
а не быком в Испании.

Но разве б посмели мы Елисея обидеть?
Детей четыре десятка на полрассудка...

На юру, трепыхаясь, как рваный клапан,
с горы спускаясь и косолапя,
он был разнежен своей гордыней,
а мы — рассержены перед смертью.

Мы шли за город. Сбор макулатуры.
Смеялись, обнаружив книги Мао.

Мы были оголеннее, чем синтаксис,
меж нами слово двигалось, касаясь.

Красавиц наших злые язычки
были показаны пророку:

— Стяжатель света — Елисей! Плюс — лыс!
Две выразительницы волос,

из леса вышли две Меден,
из тьмы перемещенные медведи,

медведицы, малая и большая,
слепую яростью нас нашаря,

комкая коверкая

ДАЧНАЯ ЭЛЕГИЯ

На море дача. Разлитая чача. Мяуча и хрюча,
цокая и громыхая (меняют баллон в гараже?
еж и консервная банка? лопнула статуя?),

ночь козырнула ракетой и сетью цвета зеленки
сграбастала воздух.

В результате перестрелки
вертолеты гулкие, как пещеры,
бэтээры и векторные приказы
сразу исчезли,

лишь провода
торчат из углов, точно рачьи усы...

Он остался один
на стуле (такой же в гробнице Тимура
у билетерши),
куда убежишь? — только в собственный
череп, подобно спирту.

От солдат — коромысла мочи на стенах.
Хлам повсюду. Где утренняя поверка?
Копошится зеленое море в зеленых евленгах,
золотистая корка на гребне волны, как фанерка.
Сила уходит через распахнутые ворота.
Сила уходит, являясь тому, кто зряч,
в виде короны на моментальном фото,
где в молоко угождает теннисный мяч.
На вертикаль соскальзывают щеколды.
Сила уходит... Крики чаек, скрип.
Всюду вечность мелькает, и от этой щекотки
задыхается время и выбранный мною тип.
Когда покидала сила зернышко на столе,
подымался уровень моря и в окнах — танкеры.
— Вставай, — он услышал, а снилось, что на осле
он в город въезжает. — Вставай, занимайся
панками!

Он видит шествия многогогие.
Густая оболочка перед ним, не проснуться никак.
Скользят они черепными коробками.
Хохол, как вставленный финик.

Дача. Гордый кот, как намытый прибором. Акула
рядом. Меж ними ни духа, ни сна.
Вспомни, начальник, как грело мерцанье посула, —
юность, ватага Катулла, загадка вина!
Можно махнуть любимыми в этом Египте
или заочно для кайфа — скелетами,
может быть, станет политика гибкой,
но продолжал он указами драться с памфлетами.
Раньше был воздух рук вокруг, хоры с подносами,
с отвесными косами, напоминающими сверло,
врачи со шприцами, пионерки с розами,
таблетки японские, чтоб не развезло,
было в походке — высокомерие,
переходящее в сон по секундной стрелке,
и — спортсмен! — он ковал водяные перья,
царю на глассере по заводи мелкой.
Когда выбегал он к оленю, ножами обросши,
мешкал олень, планом спасенья ветвясь,
потом делал так, словно хлопал в ладоши, —
паф! — обрывая связь
с небом, выкидывая колени, копыт клеммы,
шлеп по голени! — ну, танцор!
А он ценил в себе Голема,
заводную рубашку, снятую с отцов.
Надо было точку ставить, а он — запястью.
Как пятка падающего колосса
за собой оставляет, именно такую.
Он поставил ее во имя прогресса.

А теперь вокруг пальца обводит его вода,
искажась, от него отвернулись камни,
цепь логическая — их гряда
исключает его (и этим близка мне).
И его наушница — леди Макбет —
в одеждах из золотой копирки,
ненавидит его, но как бы

жалее и подбавляет спирта.
От него отвернулась стенобитная молодежь,
его свет не замечает, звезда не кусает,
всякий атом, что был на него похож,
теперь похож на другого, ему — осанна...

Сила уходит... Когда уходил Леонардо,
в обмен насыщались народы, пейзажи щедро,
его пропускали в себя оболочки и ядра,
как сфера пытливая, он прогибался от ветра,
надеяя величию свет, дирижабли, луны,
он шел, будто против взбешенной форсунки,
шел в гору, и словно собою натягивал струны,
и осуществлялись ореховые рисунки...

Притормозись. Остановись. Поймай центр,
зафиксируй его и тогда тронешься с места.
Шоссе поблескивает, как мечтательный пинцет.
Вечность — только начало уже завершенного
жеста.

Вспомни утреннюю, дымчатую, непуганую пойму,
и кристаллы красот от выпаренных богов,
где кусаки кочуют (только внешне спокойны),
от наследных красот изнывая, — их жребий
таков.

Гравитация — вот кто! — нас держит
на привязи.
В чуткой схваченности шелохнешься едва.
Путь сговорчив, а все же не смог тебя вывезти.
На бетонках отчизны изваян твой нрав и права.
Как пузырь, оболочкой боясь наколоться
на радиус,

гравитация бродит вокруг тебя, ожидая,
что ты выпрыгнешь в небо, светясь и радуясь,
предаваясь ему и с ним совпадая,
гравитация ждет своей части природы,

чтобы выпрямить нам кривизну осанки,
учащает обороты,
набрякает луна с изнанки.

Он застыл на веранде. Группа каштанов.
На столе дорогой атлас ветер листает.
Колотясь в разное масштабное,
один и тот же план туда-сюда летает
меж небом и страницей, будто картошка,
которую подбрасывают, остужая.
На каждой странице — одно и то же:
дача: маленькая, большая.
Слышишь, осколки стеклянных галерей,
каблуки, моторы, челюсти тлей...

МИНУС-КОРАБЛЬ

От мрака я отделился, словно квакнула пакля,
сзади город истериков чернел в меловом спазме,
было жидкое солнце, пологое море пахло,
и, возвращаясь в тело, я понял, что Боже
спас мя.

Я помнил стычку на площади, свист и общие
страсти,
торчал я нейтрально у игрового автомата,
где женщина на дисплее реальной была отчасти,
границу этой реальности сдвигала Шахерзада.

Я был рассеян, но помню тех, кто выпал из драки:
словно летя сквозь яблоню и коснуться пытаясь
яблоком, — не удавалось им выбрать одно, однако...
Плечуглых грифонов формировалась стая.

А здесь — тишайшее море, как будто от анаши
глазные мышцы замедлились, — передай сигарету
горизонту спокойному, погоди, не спеши...
...от моллюска — корове, от идеи — предмету...

В горах шевелились изюмины дальних стад,
я брел побережьем, а память толкалась с тыла,
но в ритме исчезли рефлексия и надсад,
по временным промежуткам распределялась сила.

Все становилось тем, чем должно быть исконно:
маки в холмы цвета хаки врывались, как
телепомехи,
ослик с очами мушиными воображал Платона,
море казалось отъявленным, а не призрачным
неким!

Точное море! В колечках миллиона мензурок.
Скала — неотъемлема от. Вода — обязательна
для.

Через пылинку случайную, намертво их связуя,
надобность их пылала, но... не было корабля!

Я видел стрелочки связей и все сугубые скрепы,
на заднем плане изъян — он силу в себя вбирал, —
вплоть до запаха нефти, до характерного скрипа,
блее укола камфары зиял минус-корабль.

Он насаждал — отсутствием, он диктовал — виды
видам, а если б кто глянул в него разок,
сразу бы зацепился, словно за фильтр из ваты,
и спросонок вошел бы в растянутый диапазон.

Минус-корабль цветом вакуума блуждая,
на деле терся на месте, пришвартован к нулю.
В растянутом диапазоне — на боку запятая...
И я подкрался поближе к властительному
кораблю.

Таял минус-корабль. Я слышал восточный звук.
Вдали на дутаре вел мелодию скрытый гений,
лекально скользя, она умножалась и вдруг,
нацеленная в Абсолют, сворачивала в апогее.

Ко дну шел минус-корабль, как на столе арак.
Новый центр пустоты плел предо мной дутар.
На хариусе веселом к нему я подплыл — пора! —
сосредоточился и перешагнул туда...

нами прошли беспризорники сердца в тиши,
в наших телах, в этих чуточках мира затих
гул их шагов... я давал им питье и гроши...

Шли. И горела на них искушенная пыль.
Последний вдруг задержался и глянул
на нас в упор.
Выл ристалищный ветер. Я с ними пошел, как
был,
в край пунктуальных птиц, в свет перелетных
гор.

ЛЕСЕНКА

В югенд стиле мансарда. Я здесь новичок.
Слышал я, как растет подколпачный цветок.

Ты сидела на лесенке — признанный перл,
замер я, ощущая пределов замер.

Ты была накопленьем всего, что в пути
приближала к себе, чтоб верней обойти.

Пастырь женщин сидел здесь и их земледел.
Страх собой одержим был, как шелковый мел.

Все себе потакали. Смеялся Фома
Потакая себе, удлинялась тюрьма.

Дух формует среду. И формует — дугой.
Распрямится — узнаешь, кто был ты такой!

Например, если вынуть дугу из быка,

соскользнет он в линейную мглу червяка.

Вопрошающий, ищущий нас произвол
той дугою сжимал это время и стол.

Был затребован весь мой запас нутряной,
я в стоячей воде жил стоячей волной.

Но ушел восвояси накормленный хор
вместе с Глорией, позеленевшей, как хлор,

с деловыми девицами на колесе
спать немедленно на осевой полосе.

Тут костелы проткнули мой череп насквозь.
Нес я храмы во лбу. Был я важен, как лось.

А из телеэкранов полезла земля,
эволюция вновь начиналась с нуля.

Выражался диктатор в доспехи трибун,
но успехов природы он был атрибут.

Думал я о тебе, что минуту назад
нашу шатию тихо вводила в азарт.

Я б пошил тебе пару жасминных сапог,
чтоб запомнили пальцы длину твоих ног.

А на лесенке — тьма, закадычная тьма.
Я тебя подожду. Не взберешься сама.

СОДЕРЖАНИЕ

Lucy in the Sky with Diamonds	
«Еще до взрыва вес, как водоем...»	5
«О сад моих друзей, где я торчу с трешоткой...»	6
«Темна причина, но прозрачна...»	6
1971 год	7
Мемуарный реквием	9
Жужелка	14
Стеклянные башни	15
Две гримерши	17
Шахматисты	18
Землетрясение в кофейне	20
Землетрясение в бухте Цэ	20
Статуи	24
Пустыня	24
Из города	25
Крым	26
«В домах для престарелых...»	27
Псы	28
Элегия	29
Я жил на поле Полтавской битвы (поэма)	31
Фигуры интуиции	70
Вступление	70
Сила	71
Бегство-I	73
Деньги	74
Перенос	77
Бегство-II	80
Ревность	81
Коты	83
Медведи	85
Дачная элегия	86
Мнус-корабль	91
Бегство-III	93
Лесенка	94

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ПАРШИКОВ

ФИГУРЫ ИНТУИЦИИ

Заведующий редакцией

А. Бармасов

Редактор

Л. Беклешова

Художник

А. Махов

Художественный редактор

И. Сайко

Технические редакторы

Н. Привезенцева, Н. Калиничева

Корректоры

Т. Нарва, Е. Коротаяева

ИБ № 4310

Сдано в набор 01.03.89. Подписано к печати 31.07.89. Л 22606. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,46. Уч.-изд. л. 3,43. Тираж 10 000 экз. Заказ 1458. Цена 35 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

170000, г. Калинин, Студенческий пер., 28. Обл. типография.

35, к.

АЛЕКСЕЙ ФИГУРЫ
ПАРЩИКОВ ИНТУИЦИИ

